

## Глава VII

***Запрещение «Телескопа». – «Библиотека дня чтения». Сенковский и гении, им созданные. – Возвращение больного Надеждина из Усть-Сысольска. – Мое сближение с ним. – Надеждин как собеседник. – Ответ Надеждина на вопрос: почему теперь нет хороших стихов? – Отношения Надеждина к разным издателям. – Два слова о Н. И. Грече. – Гоголь у Прокоповича. – Башуцкий и его вечера. – Приготовления к изданию «Отечественных записок». – Разговор мой с г. Краевским по этому поводу. – Объявление об издании «Отечественных записок».***

Причина внезапного конца «Телескопа», который начинал приобретать еще более значения с появления в нем Белинского, известна всем. Прекращение этого журнала наделало большого шума, возбудило различные толки и заставило прочесть статью Чаадаева – виновницу прекращения – даже тех, которые отроду не читали таких серьезных статей. Того номера «Телескопа», в котором она появилась, скоро достать уже было невозможно: его расхватили, и статья Чаадаева стала расходиться во множестве рукописных экземпляров. Кажется, все строгие запретительные меры относительно литературы никогда не действовали во вред ей. Запрещение журнала всегда возбуждало в публике сочувствие и участие к журналисту, подвергнутому опале; а статья, вследствие которой запрещался журнал, приобретала популярность не только между всеми грамотными и читающими людьми, но даже и между полуграмотными, которые придавали ей бог знает какие невежественные толкования. «Телескоп» недолго пережил «Телеграф». Издатель «Телескопа» возбуждал большой энтузиазм между московскою университетскою молодежью своими лекциями. Об его удивительном даре слова и многообразных сведениях доходили слухи и до Петербурга; но его критические статьи в «Телескопе» под псевдонимом Надоумки, несмотря на много дельного, высказавшегося в них, не нравились в Петербурге по своему тону, отзывавшемуся несколько бурною.

Как бы то ни было, «Телеграф» и «Телескоп» были любимыми журналами петербургской читающей молодежи. Несмотря на свой огромный успех и блестящие имена на обертке, «Библиотека для чтения» не пользовалась никаким кредитом между молодежью и теми литераторами, которые смотрели на литературу серьезно. Белинский справедливо замечал о ней: «Библиотека» есть журнал провинциальный: вот причина ее силы. (см. Соч. Белинского, том 2, стр. 21). Направление, заключающееся в том только, чтобы во что бы то ни стало забавлять, при отсутствии своих убеждений, производство Кукольника в Гете, неудачная попытка своих домашних журнальных прислужников, вроде г. Тимофеева, возводить в ранг замечательных талантов, вообще все мистификации и шуточки Сенковского оскорбляли эту горячую молодежь.

С Сенковским я познакомился незадолго до его смерти. В это время он был уже расслаблен нравственно и физически и пописывал фельетоны в «Весельчак» и «Сын отечества» г. Старчевского. Дела Сенковского были в это время расстроены; от прежней роскоши, с которою он, говорят, жил, не оставалось почти и следа... Сенковский умер вовремя. Если бы он прожил еще несколько лет, ему пришлось бы играть печальную роль при г. Старчевском. Из самовластного начальника он превратился бы в подчиненного и даже, может быть, принужден был бы пользоваться благодеянием того, которому он некогда сам благодетельствовал. Еще лучше было бы умереть Сенковскому несколькими годами ранее: тогда бы он не пережил своей громкой известности.

С Тимофеевым я встречался несколько раз. О нем ходили странные слухи: живя на даче в Парголово одно лето, он вырыл, говорят, какую-то пещеру и в ней читал и писал, возбуждая к себе любопытство дачниц, которые прозвали его Парголовским пустынным. Тимофеев был высок ростом, красив и немного туповат на вид. Он говорил неестественно тихо и как-то вдохновенно закатывал глаза под лоб. Он не в шутку вообразил, что он поэт, добродушно поверив мистификации Сенковского. Более я ничего не могу сказать о Тимофееве.

О Сенковском, его редакторстве и об его странных отношениях к сотрудникам, вероятно, много любопытного может передать Е. Ф. Корш, который года полтора вместе с Грановским (до отъезда Грановского за границу) трудился для «Библиотеки для чтения». Я слышал от

Грановского множество пресмешных рассказов о Сенковском; в них вполне охарактеризовалась не совсем достойная уважения личность человека, игравшего несколько лет такую шумную роль в русской литературе.

Но я заговорил не о нем, а о «Телескопе» и о Надеждине. Перейдем же к нему. В 1837 году Надеждин возвратился из места своего изгнания – Усть-Сысольска в Петербург, расслабленный и без ног. Он остановился в гостинице Демута. Здесь перебивали у него все петербургские литераторы, за исключением некоторых аристократов. Кроме литераторов, я часто встречал у Надеждина его друзей Княжевичей, конногвардейского полковника Галахова (бывшего потом оберполицеймейстером) и других лиц – известных или начинавших делаться известными в чиновном мире. Кто познакомил меня с Надеждиным – я не помню, но Надеждин увлек меня с первого раза. Меня так и тянуло к нему. Он также обнаружил ко мне некоторое влечение. Я ездил к нему почти всякий день.

Я был в то время довольно веселым рассказчиком, начинал подмечать комическую сторону жизни и пародировал довольно удачно нескольких лиц, известных в литературе и в обществе. Надеждин от моих рассказов катался обыкновенно со смеху и этим ободряющим смехом еще более подстрекал меня.

Его обширные сведения, изумительная память, дар слова – все это поразило меня. Это был первый литератор, удовлетворивший моему идеалу. Я полагал во время оно, что всякий литератор непременно должен обладать ученостью или, по крайней мере, обширным образованием. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что можно быть весьма недурным поэтом или довольно даровитым рассказчиком, не имея не только образования, но даже ума, я ни за что не поверил бы этому. А сколько таких нехитрых господ из литераторов случилось мне встречать потом в течение тридцатилетнего моего литературного поприща! Некоторые из них пользовались значительным успехом в публике, и творения их подвергались даже тонким анализам, глубокомысленным критикам, очень лестным для авторов по тонкости и глубине, но совершенно непонятным для них.

Надеждин по своим обширным сведениям и по уму стоял во главе тогдашних литераторов. Наружность Надеждина была мало привлекательна. Черты болезненного, осунувшегося и побагровевшего лица его были резки; у него был длинный красный нос, рот почти до ушей, раскрывавшийся совсем не только при смехе, даже при улыбке, и обнаруживавший не только зубы, даже десны. Манеры его были неуклюжи и аляповаты, голос криклив. В минуты одушевления он издавал какие-то звуки, похожие на рычание, и дикие восклицания вроде: «а-га-га-га!» Но несмотря на все это, он имел в себе много симпатического. Такова сила ума, смягчающая даже самое безобразие и придающая одушевление и приятность самым грубым чертам. Если бы ум и знания соединились в Надеждине с твердостью воли, он, вероятно, оставил бы по себе прочную память в летописях Московского университета или в истории русской литературы. К сожалению, при своем замечательном уме и при своих блестящих способностях, он вертелся, как флюгер, по прихоти случайностей: без сожаления покидал свое ученое поприще для литературных занятий, литературные занятия для служебной деятельности – и нигде не оставлял по себе глубокого следа. В науке, в литературе, на служебной арене – он везде обнаружил большие способности, но не сделался серьезным ученым и не имел влияния ни в литературном, ни в чиновничьем мире. Надеждин был человек вполне просвещенный и свободномыслящий, но не имевший никаких твердых убеждений, которые заставляют человека идти непоколебимо по избранному им пути, преодолевая все препятствия и не отклоняясь ни на шаг в сторону.

Как бы то ни было, он, как я уже заметил, всегда вносил в беседу мысль и одушевление. В нем был своего рода юмор, не совсем тонкий, но иногда довольно злой; как в человеке (я не говорю – в писателе) в нем не было ни малейшей сухости и педантизма. Он не пугал своими знаниями, как это делают многие ученые, не хвастал своей эрудицией, хоть при случае любил блеснуть ею, и был почти постоянно одушевлен веселостью – несмотря на расстройство своего здоровья. В этой веселости было что-то добродушное, искреннее, возбуждавшее веселость в других, хотя искренность и добродушие не были его отличительными качествами...

Все его недостатки, истекавшие из слабости его характера, очень видимы были для всех его приятелей: они обсуживались за глаза строго, возбуждали даже негодование; но когда приятели сходились с ним лицом к лицу – они искренно забывали всё и всё прощали ему.

Он имел дар привлекать к себе всевозможного рода людей – не одних литераторов... Люди светские, купцы, значительные чиновники, сойдясь с ним случайно, привязывались к нему.

У Надеждина был наемный человек Иван. Он начал служить при нем с начала издания «Телескопа».

Когда Надеждин отправлялся в ссылку, он призвал Ивана для того, чтобы рассчитаться и проститься с ним. Он никак не предполагал, чтобы тот решился ехать с ним бог знает куда и на неопределенное время; но Иван решительно объявил, что хоть бы он ехал на край света, он не оставит его.

Надо заметить, что Надеждин обращался с Иваном не совсем гуманно; как все больные, он был иногда несносно капризен и придиричив, – и несмотря на это, Иван остался при нем до последней минуты. Последние годы, когда Надеждин разбил паралич, Иван не оставлял его ни на шаг и ухаживал за ним, как добрая нянька за ребенком.

Недаром же возбуждал Надеждин такую сильную привязанность к себе!

В две недели я сблизился с ним так, как будто был век знаком. При моем появлении он обыкновенно улыбался, разевал рот, обнаруживая десны, протягивал ко мне свои длинные руки и восклицал:

– А-га-га-га!.. Вот и он! Вот и он!.. Ну, что нового в литературе?..

Надеждина интересовали всякие литературные сплетни.

Я передавал ему все, что знал: о жалобах Якубовича на Карлгофа, о воейковском обеде в холерной больнице, и прочее, и прочее. Надеждин хохотал от всей души. Он собирал тогда статейки для «Одесского альманаха» и просил меня дать что-нибудь. Я написал для него рассказ под заглавием: «Как добры люди!» Этот рассказ был до такой степени пошл и плох, что мне стыдно вспоминать об нем. Я и тогда, впрочем, чувствовал, что он плоховат, и заметил это Надеждину, который вскрикнул:

– Э, ничего! Сойдет с рук!.. А давно ли вы видели нашего Лукьяна? – прибавил он (Якубовича звали Лукьяном). – Мне он нужен... Ведь и у него надо взять стихов на затычку...

И Надеждин, говоря это, осклаблялся и издавал звуки, похожие на смех.

– Лукьян славный малый, добрый, – продолжал он, – без его стихов нам нельзя обойтись... И ему ведь ничего не стоит налупить по заказу три-четыре стихотворения, только слово скажи.

Кстати, о стихах.

Надеждин (это было уже гораздо позже) рассказывал мне, что на обеде у А. М. Княжевича, с которым он был очень близок, он встретился с одним штатским генералом, занимавшимся некогда литературой, враждебно смотревшим на новейшую литературу и притом, кажется, не благоволившим к Надеждину как к бывшему издателю «Телескопа» за его либеральный образ мыслей.

– Ну, почтеннейший, – воскликнул Надеждин, – чудо из чудес! Как бы вы думали! – я удостоился благоволения его превосходительства, он даже прижал меня к своей звездоносной груди и напечатлел поцелуй на моих губах, – теперь вы должны иметь ко мне больше уважения.

– Чем же вы его так разнежили? – спросил я.

– А вот как. За обедом речь зашла о литературе. Генералы всё толковали о том, отчего теперь нет торжественных хороших стихов, какие писывались в их время, и никак не могли добиться отчего?.. Его превосходительство, который, как вам известно, прежде неблагоклонно посматривал на меня, вдруг обратился ко мне с улыбкою: «Не объясните ли вы нам этого, – вы, который были журналистом?»

– Почему же? Охотно, ваше превосходительство, – отвечал я, – по моему мнению, оттого, что нынче большею частью пишут не-дворяне. Этим только и можно объяснить упадок нашего стихотворства!.. – Генерал при этом пришел в совершенный экстаз – и вот почему я удостоился его превосходительных объятий и поцелуя. Он потом все покачивал печально головой и говорил: «Вы совершенно справедливы; именно так, другой причины нет, а это очень жаль!» – Так вот видите, почтеннейший, каков я? Умею, ведь себя вести с генералами?..

Дней через пять я встретил этого генерала. Он знал меня с детства и поэтому говорил мне ты.

– Ты знаешь Надеждина? – спросил он меня.

– Очень хорошо.

– Он, кажется, прекрасный и очень благонамеренный человек, – заметил генерал чувствительным и мягким тоном...

Слова Надеждина генерал принял серьезно.

Вот наивность-то!..

Я не могу себе объяснить нерасположения Надеждина к Белинскому. Надеждин не любил говорить об нем и на вопросы о Белинском отвечал обыкновенно нехотя и представлял его каким-то циником, о чем я уже упоминал в статье моей о Белинском. В то же время Надеждин уж слишком яркими красками и даже не без энтузиазма описывал мне некоторых из друзей его. По его описанию я воображал найти в одном из них что-то похожее на Рафаэля или на Иоанна Богослова.

Впоследствии я убедился, что в этих характеристиках Надеждина гораздо более было его собственной фантазии, чем правды.

По возвращении Надеждина не только петербургские журналисты, но даже и издатели альманахов бросились к нему с просьбами о статьях... Он прежде всех удовлетворил Владиславлева. Владиславлев боялся ума и учености Надеждина; Надеждин, в свою очередь, не то чтобы боялся Владиславлева, но оказывал ему особое внимание и ласку по месту его служения. Вследствие этого они были в очень коротких отношениях. Г. Краевский обращался с Надеждиным довольно фамильярно, как и следует ученому с ученым, но, кажется, не любил его и, вероятно, побаивался, сознавая, что Надеждин все-таки ученее его.

Надеждин, напротив, обнаруживал к нему расположение и даже очень любил говорить об нем, называя его просто Андреем... Если кто-нибудь при нем не совсем хорошо отзывался о г. Краевском, Надеждин обыкновенно восклицал:

– Полноте нападать на моего Андрея, он славный малый, – вы не шутите с ним: он изобрел у нас шестую часть света!

По натуре своей Надеждин был очень ленив; но свои журнальные статьи он писал с необыкновенною быстротою и легкостью, почти без помарок. Рукописи его отличались большою оригинальностью: он писал обыкновенно на бумаге очень длинного формата и довольно узко обрезанной. Почерк у него был довольно четкий, но русские буквы принимали под его пером какую-то старинную форму, несколько похожую на готическую.

Усть-Сысольск значительно охладил его литературную деятельность. Он после своего приезда оттуда начал смотреть на литературу как на дело, отошедшее для него на второй план. Он решился всего себя посвятить служебной деятельности, и мечты о служебной карьере занимали его уже гораздо более.

Знакомство с Надеждиным, который резко отличался от всех петербургских литераторов, возбудило во мне еще большее желание познакомиться с московскими литераторами. Москва начала очень занимать меня. На московскую литературу я смотрел всегда с большим уважением. Направление ее выражалось «Телеграфом», «Телескопом», «Молвою» и, наконец, «Московским наблюдателем», редакцию которого принял на себя впоследствии Белинский; тогда выступали в Москве на литературное поприще молодые люди, только что вышедшие из Московского университета, – с горячею любовью к делу, с благородными убеждениями, с талантами... Это было самое блестящее время московской литературной деятельности. К Петербургу с его «Библиотекою» и «Северною пчелою» я получил уже совершенное отвращение; петербургские литераторы также не возбуждали во мне никакого интереса. Я был знаком со всеми ими, не исключая даже Николая Ивановича Греча, который всегда обращался со мною с большою благосклонностию, хотя и изъявлял сожаление моему дяде, что я связываюсь в литературе с людьми неблагонамеренными, которые заразят меня своими вредными идеями. Да, это справедливо: чтобы сохранить чистоту нравов и благонамеренность, я должен был поддерживать только связи с Н. И. Гречем и Ф. В. Булгариным. Теперь я вижу это ясно, но поздно...

Из находившихся в ту минуту в Петербурге литераторов я не был знаком только с Гоголем, который с первого своего шага стал почти впереди всех и потому обратил на себя всеобщее внимание. Мне очень захотелось взглянуть на автора «Старосветских помещиков» и «Тараса Бульбы», с которыми я носился и перечитывал всем моим знакомым, начиная с Кречетова.

Кречетова поразил или, вернее сказать, ошеломил «Бульба». Он во время моего чтения беспрестанно вскакивал с своего места и восклицал:

– Да это chef-d'oeuvre... это сила... это мощь... это... это... это...

– Ах, да не перебивайте, Василий Иванович, – кричали ему другие слушатели...

Но Кречетов не выдерживал и перебивал чтение беспрестанно, засовывал свои пальцы в волосы, раздирал свои волоски с каким-то ожесточением.

Когда чтение кончилось, он схватил себя за голову и произнес:

– Это, батюшка, такое явление, это, это, это... сам старик Вальтер-Скотт подписал бы охотно под этим Бульбою свое имя... У-у-у! это уж талант из ряду вон... Какая полновесность, сочность в каждом слове... Этот Гоголь... да это чорт знает что такое – так и брызжет умом и талантом...

Кречетов долго после этого чтения не мог успокоиться.

Случай скоро представился мне увидеть Гоголя. Через А. А. Комарова я познакомился с Прокоповичем, учителем словесности в кадетских корпусах, стихотворцем, большим чудачком и, главное, добрейшим человеком. Прокопович в один год с Гоголем кончил курс в Нежинском лицее. Приятель с ним еще со школьной скамьи, Прокопович, горячо любивший литературу, после первых произведений Гоголя присоединил к своей школьной дружбе еще благоговейную

привязанность к нему как к писателю. Гоголь, повидимому, был очень близок с ним: во время своего пребывания в Малороссии или за границей он всегда делал Прокоповичу различные поручения и, возвращаясь в Петербург, останавливался у него.

Прокопович, узнав через А. А. Комарова мое желание посмотреть на Гоголя, пригласил меня в тот день, когда Гоголь обещал у него обедать.

Наружность Гоголя не произвела на меня приятного впечатления. С первого взгляда на него меня всего более поразил его нос, сухощавый, длинный и острый, как клюв хищной птицы. Он был одет с претензией на щегольство, волосы завиты и кок наперед поднят довольно высоко, в форме букли, как носили тогда. Вглядываясь в него, я все разочаровывался более и более, потому что заранее составил себе идеал автора «Миргорода», и Гоголь нисколько не подходил к этому идеалу. Мне даже не понравились глаза его – небольшие, проницательные и умные, но как-то хитро и неприветливо смотревшие. Он занят был перед обедом приготовлением макарон по-итальянски (это было уже после второй поездки его за границу) и беспрестанно выходил на кухню смотреть за их приготовлением. За обедом он говорил мало и ел много. Разговор его не был интересен, он касался самых обыкновенных и вседневных вещей; о литературе почти не было речи, только, не помню к чему, он заметил, что, по его мнению, первый поэт после Пушкина – Языков и что он не только не уступает самому Пушкину, но даже превосходит его иногда по силе, громкости и звучности стиха. Меня еще неприятно поразило то, что в обращении двух друзей и товарищей не было простоты: сквозь любовь Прокоповича к Гоголю невольно проглядывало то подобострастие, которое обнаруживает друзья низшие к друзьям высшего ранга; Гоголь, в свою очередь, поглядывал на Прокоповича тоже как будто немножко свысока. Тотчас после обеда мы все разошлись, и когда я уходил, Прокопович заметил мне, что Гоголь сегодня был не в духе.

Я слышал, что Гоголь в духе рассказывал различные анекдоты с необыкновенным мастерством и юмором; но после издания «Миргорода» и громадного успеха этой книги он принимал уже тон более серьезный и строгий и редко бывал в хорошем расположении... Иногда только он обнаруживал свой юмор перед людьми высшего общества, с которыми начал сближаться. До этого и обращение его с Прокоповичем было гораздо проще и искреннее, так, по крайней мере, уверяют те, которые были знакомы с ним с самого приезда его в Петербург...

Говоря о литераторах и литературных вечерах, я забыл сказать об А. П. Башуцком. Деятельность Башуцкого была изумительна: он занимался службой, литературой, составлял различные промышленные проекты – и в то же время выезжал в свет и был один из самых плодовитых и красноречивых собеседников. Он затевал все в роскошных широких размерах, рассчитывал на десятки и сотни тысяч, но его литературные и другие затеи никогда почти не удавались и не приносили ему ничего, кроме убытка. Он издал «Панораму Петербурга», заказал гравюры для этого издания в Лондоне, но корабль с его гравюрами погиб в море; он начал издавать газету «Общепольных сведений», но от этих сведений подписчики не только не получили никакой пользы, но потерпели убыток, потому что она прекратилась на первых номерах.

Аккуратность Башуцкого и внешний порядок в его кабинете были изумительные: картонки и ящики с различными надписями, письменный стол с бесчисленными кипами бумаг под красивыми пресс-папье... и все это так изящно и так мастерски разложено и расставлено. В комнатах его каждая самая незначительная вещь поставлена была так, что производила эффект. Сам хозяин всегда был одет с удивительною тщательностью; ни на галстук, ни на манишку ни малейшей складочки, точно как будто на нем было все подклеено; парик прекрасно расчесан и распомажен; говорил Башуцкий с большим искусством; плавный разговор его так и лился и журчал; в разговоре его можно было слышать – где запятая, где тире, где точка с запятой и т. д. У него было пять-шесть рассказов и в числе их знаменитый рассказ о смерти Милорадовича, при котором он был адъютантом 14 декабря. Этот рассказ он при мне повторял раз десять, не изменяя в нем ни йоты, и всегда производил им величайший эффект на тех, которые имели удовольствие первый раз слушать его. Когда Башуцкий развивал свои проекты разных коммерческих предприятий (а они рождались у него чуть не ежедневно), его слушатели, пораженные его красноречием, готовы были отдать на эти предприятия последний грош. Так убедителен и заманчив казался оратор. Для начатия самых исполинских предприятий, по

мнению Башуцкого, требовались самые ничтожные суммы. Положив, например, тысяч пять на предприятие Башуцкого, вы могли, по его словам, в несколько лет сделаться миллионером. Все это было так ясно, так просто, как дважды два четыре. Глядя на самого Башуцкого и на его обстановку и слушая его речи, можно было принять его за человека самого положительного, самого практического, а между тем трудно было найти человека, более увлекавшегося. Это фантазер, облакавший свои фантазии в щегольские фразы, которыми он сначала только любит, не веря им, но которыми потом сам увлекается до такой степени, что принимает их серьезно. Это не утопист, а просто балансир, балансировавший не над пучиною морскою, а над грязной и мелкой лужей, в которой никак нельзя утопиться, но, упавши, можно очень больно ушибиться и загрязниться...

К Башуцкому сходились по пятницам. Общество на этих пятницах было немногочисленное и притом случайное... На них появлялись, впрочем, изредка и знаменитости – Кукольник и Каратыгин. Одним из постоянных посетителей пятниц Башуцкого был Владимир Строев, который известен в литературе тем, что Воейков удостоил его почему-то поместить в свой «Сумасшедший дом» вместе с литературными знаменитостями, назвав его левым глазом Греча с бельмом. На этих пятницах можно было без удивления встретить вместе кого угодно: Краевского и Греча, Булгарина и Воейкова, Сенковского и Белинского... Башуцкий был эклектик. У него появлялся даже и Кречетов, очень любивший его и в особенности его ужины с доброю бутылкою мадеры.

О литературной деятельности Башуцкого, которая развернулась в начале сороковых годов, о его изданиях, романах, о знакомстве с Белинским – обо всем этом я буду говорить в свое время...

Теперь я приступаю к очень любопытному времени в нашей литературе – к покупке г. Краевским знаменитых «Отечественных записок» Свинына.

Успех «Библиотеки для чтения» не мог не подействовать на редактора «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду». Пять тысяч подписчиков<sup>[4]</sup> – какая приятная цифра! О роскоши, с которою жил редактор «Библиотеки», носились тогда преувеличенные, чуть не баснословные слухи... Литераторы с завистливым удивлением рассказывали о великолепном кабинете Сенковского, о его лестнице, установленной цветами и тропическими растениями... и всем этим остроумный профессор восточных языков, пожаловавший сам себя в бароны, был обязан – журналу. Следовательно, большой журнал – хорошее коммерческое предприятие. Чему была обязана своим успехом «Библиотека для чтения»? – громкому объявлению с бесчисленными именами. Ну, что г \*, разве нельзя пустить такое же объявление и набрать имен еще более? Толщина книжек «Библиотеки» также немало способствовала ее успеху. И это дело немудреное... можно пустить книжки еще потолще. Многие приписывали успех «Библиотеки» талантливому балагурству, остроумию и беззастенчивости ее редактора, являвшегося под различными псевдонимами. Прекрасно. Допустим и это, но к шуточкам и балагурству Сенковского начинали уже охладевать; ученые и литераторы становились в враждебное положение к редактору «Библиотеки» за его восточное самоуправство с их сочинениями, следовательно новый журнальный орган должен быть принят ими благосклонно. Но для начатия журнала необходимы деньги – затруднение было только в этом, потому что Свинын, будучи в это время в стесненном положении, очень охотно уступал свой журнал, который терял подписчиков с каждым годом.

Г. Краевский, получивший уже некоторую известность как редактор «Литературных прибавлений к Инвалиду», вступил с Свиныным в переговоры в половине 1838 года и между тем составил нечто вроде небольшого акционерного общества из нескольких своих приятелей и приятелей этих приятелей. К числу вкладчиков, сколько я помню, принадлежали следующие лица: князь В. Ф. Одоевский, А. В. Всеволожский, Н. П. Мундт и Владиславлев. Все они обязались внести, кажется, по 3000 рублей ассигнациями – и я также... Я, впрочем, не внес денег, – г. Краевский и не требовал их с меня, потому, вероятно, что нашел достаточно для начала сумму, внесенную другими. Таким образом, «Отечественные записки» начались с весьма незначительным капиталом.

– Кто же у вас будет заниматься критическим отделом? – спросил я однажды у г. Краевского, – ведь критический отдел в журнале – самая важная вещь.

– Я еще не знаю, – отвечал г. Краевский и прибавил глухо, но с свойственным ему глубокомыслием: – у меня, есть один человек на примете...

Разговор этот происходил в доме Брянского.

– Да вот вам человек для этого – Белинский, – продолжал я, – чего же лучше? Если б он решился только переселиться в Петербург, это было бы отлично.

– Покорно вас благодарю, – сказал г. Краевский резко и сухо, – я не имею никакого желания связываться с этим крикуном-мальчишкой...

Он видимо не желал продолжения этого разговора и завел речь с кем-то другим, отвернувшись от меня...

Г. Краевский заключил условие с Свиным, обязавшись за право пользования его «Отечественными записками» платить ему ежегодно 5000 р. ассигн., а после смерти Свиного – вдове его. Через год, кажется, Свинин умер. Г. Краевский вошел с просьбою к министру народного просвещения о передаче ему права издания и утверждении его редактором. На всеподданнейшее представление об этом министра последовало высочайшее соизволение, на основании которого г. Краевский прекратил выдачу вдове Свиного. В условии между Свиным и г. Краевским сказано было, что в случае каких-либо недоразумений или неисполнения условия со стороны Краевского он, Свинин, и его наследники прибегают к посредству третейского суда. Третейский суд, с общего согласия договаривающихся, состоял из Л. В. Дубельта, В. И. Панаева и П. А. Плетнева. Вдова Свиного прибегла к ним; судьи обратились к г. Краевскому. Г. Краевский отвечал, что так как право на издание «Отечественных записок» высочайше утверждено за ним, то вследствие этого условие его с покойным Свиным уничтожилось само собою и вдова его не должна уже иметь никаких претензий на него, Краевского. Тогда третейский суд прибегнул к великодушию г. Краевского и хотел смягчить его сердце бедственным положением вдовы Свиного. Успел ли он в этом – я не знаю...

Объявление об издании «Отечественных записок» под новою редакцией было не без эффекта. Для этого объявления набрано было чуть ли не до ста имен различных петербургских и московских ученых и литераторов...

Какое же знамя поднял г. Краевский? Представителем какого направления выступал возобновленный журнал?

Редактор сам ясно не сознавал этого; неопровержимые доказательства этого обнаружатся впоследствии, когда я буду говорить о г. Краевском как о редакторе «Отечественных записок».

Г. Краевский начал свое коммерческое предприятие на авось, как большая часть русских людей начинают свои предприятия.

Впоследствии он утверждал (в объявлениях об «Отечественных записках»), что цель журнала его – истина в науке, истина в искусстве, истина в жизни... Это прекрасно, но очень неопределенно.

Как бы то ни было... г. Краевский не спал ночи и проводил их за корректурой в типографии перед выходом первой книжки. Об ней уже ходили заранее различные – доброжелательные и враждебные – слухи. Я ожидал ее с нетерпением, потому что для этой книжки и я скропал статейку о французской литературе...

1 января 1839 г. книжка явилась. Это была, впрочем, не книжка, а книжища, вдвое – если не более – толще «Библиотеки для чтения».

Все любители литературы с любопытством бросились смотреть на нее – и вот:

Громада двинулась и рассекает волны...

#### **Примечания**

4. Известно, что «Библиотека для чтения» в первый год существования своего имела пять тысяч подписчиков – цифра, до которой не достигал ни один из русских журналов того времени.